Цветаева Марина 8.10.03

Культура.–2003.–2-8 окт.–с.14

"Он любил меня первую, а я его последним"

Марина Цветаева и Николай Гронский

8 октября мы отмечаем день рождения Марины Цветаевой. В издательстве "Вагриус" выходит книга "Марина Цветаева. Николай Гронский. Письма 1928 – 1933 годов". Имя Цветаевой еще при жизни сопровождала некая "скандальность", обусловленная, очевидно, ее редкой даже для лирического поэта способностью договаривать все до конца. Еще Иосиф Бродский заметил, что Цветаева – поэт, возможно, самый искренний в XX веке. Некоторые письма из открывшегося архива М.Цветаевой, хранящегося в РГАЛИ, мы сегодня предлагаем вашему вниманию.

Роман в письмах

Слева: М.Цветаева. Понтайяк. 1928 г. Справа: Н.Гронский. Париж. 1920-е гг.

Имя поэта Николая Павловича Гронского (1909 – 1934) известно во многом благодаря Марине Цветаевой, написавшей о нем статью "Поэт-альпинист", посвятившей его памяти стихотворный цикл "Надгробие", сохранившей его письма. Если бы не эта короткая дружба и долгая посмертная память Цветаевой, то, кроме вышедшей в 1936 году в Париже тиражом 300 экземпляров его книги "Стихи и поэмы" да газетной публикации "Белладонны", мы о Гронском ничего бы не знали, ибо его имя совершенно отсутствует в изданных уже во множестве мемуарах его современников. *Последнее обстоятельство* объясняется, конечно, образом его жизни – уединенным, далеким от всех литературных собраний русской эмиграции, самостоятельным и самобытным.

"Он любил меня первую, а я его последним. Это длилось год. Потом началось – неизбежное при моей несвободе – расхождение жизней, а весной 1931 года и совсем разошлись: наглухо", – так в декабре 1934 года резюмировала Цветаева историю их непростых отношений.

Ко времени встречи с Мариной Цветаевой в начале 1928 года (в одном из писем к его матери Цветаева упоминает повод к знакомству: Гронский пришел к ней, чтобы попросить одну из ее книг, вероятно, "Ремесло") восемнадцатилетний Николай Гронский успел окончить русскую гимназию в Париже и поступить в университет. Цветаева и Гронский жили по соседству в парижском пригороде, были знакомы семьями (в конце 1926 – 1927 гг. они даже были соседями по дому, в Беллевю).

Отец Гронского – Павел Павлович, приват-доцент государственного права Петербургского университета, в Париже был сотрудником русской газеты "Последние новости", где изредка печаталась Цветаева, его мать Нина Николаевна была талантливым скульптором, и сын помогал ей в мастерской.

Николай Гронский родился в Териоках, детство провел в Петербурге и в Тверской губернии, в Весьегонском уезде:

...Есть Весть, что на реке Егони, –
Здесь славянин, и мерь, и чудь,
И финский нож в карельской крови,
Татарский мат и русский рубль
("Россия", 1929).

Одиннадцатилетним мальчиком, вместе с матерью и сестрой, Николай Гронский покинул Россию. Окончив в 1932 году Парижский университет, он поступил на третий курс факультета философии и литературы Брюссельского университета, где начал работу над диссертацией о Державине.

21 ноября 1934 года Николай Гронский был сбит поездом парижского метро и через несколько часов скончался от большой потери крови. Опубликованная через три недели после смерти поэма "Белладонна" стала рождением поэта, тем более нежданным; что при жизни Гронский своих стихов не печатал.

Для Марины Цветаевой эта публикация стала поистине "посмертным подарком" – в авторе "Белладонны" она узнала своего поэтического сына и преемника. Под ударом этого узнавания, по остывшим уже следам воскресшей памяти она собрала образ этого обретенного в утрате поэтического сына в портрете-реквиеме "Поэт-альпинист". Полгода жила Цветаева этим горьким счастьем. Она встречалась и переписывалась с родителями Гронского, читала его рукописи, сфотографировала интерьер его комнаты, она систематизировала свою переписку с ним и даже задумывала создать из нее книгу писем, по образцу любимых ею эпистолярных романов Беттины фон Арним.

И можно понять, прочитав эту переписку, почему она это намерение не осуществила, а заодно и ответить на вопрос, почему из всего литературного наследия Гронского Цветаева остановилась только на "Белладонне", пропустив и "Авиатора", и "Туманы", и "Спинозу", и вообще все остальное. Слух Цветаевой, как всякого лирического поэта parexellence, был настроен на частоты собственного поэтического мира.

Гронский-человек был слишком самостоятелен и самодостаточен, чтобы стать героем какого бы то ни было романа. Гронский-поэт был в начале своего пути, но основание его самосостояния как поэта проявилось рано и, чувствуя, вероятно, что оно останется непонятым Цветаевой, он ей своих сочинений ("Авиатора", скажем) не показывал.

У Николая Гронского есть строки эпиграфической неотразимости:

Я слышу голос издалека,
– Поэт стрела, блеснула сталь;
Весь горизонт открыт широко:
За далью даль, за далью даль...
("Повесть о Сергии Радонежском, о медведе его Аркуде и о битве Куликовой", 1934).

Этот пример, кстати, показывает, до чего искусственны границы в поэзии, поистине "дух дышит, где хочет" – и в "советском" Александре Твардовском, и в "эмигрантском" Николае Гронском. Но, может быть, наиболее замечательна в нем прирожденная высота умозрения, которая дает его картинам редкий объем.

...Тогда земля,
Как в пелены новорожденный,
Закутана в туман, спала.
И был туман по всей вселенной,
– Седое утро Бытия.
(цикл "Туманы", 1929).

Одна эта последняя строка, в которой преобразились и первый день творения Книги Бытия, и "Утро туманное, утро седое..." Тургенева, и "Седое утро" Блока, наводит на предположение, что в лице Николая Гронского русская поэзия потеряла одного из больших религиозных поэтов. Но и то из его наследия, что не унесла "река времен", имеет право на память и встречу с читателями.

Елена КОРКИНА

Понтайяк. Фотография начала XX в.

Цветаева – Гронскому
Pontaillac, 12 июля 1928 г.

Мой родной мальчик! Я в полном отчаянии от всего, что нужно сказать Вам: скажу одно – не скажу *всего* – значит не скажу ничего – значит, хуже: раздроблю *все*. Все, уменьшенное на одно, размененное на "одно" ("два"). Ведь только так и надо понимать стих Тютчева ("Silentium". – **Ред.**): когда молчу – говорю все, когда говорю – говорю одно, значит не только не все, но *не то* (раз одно!) И все-таки говорю, потому что еще жива, живу. Когда умрем заговорим МОЛЧА.

Родной мой! Мы за последние те дни так сроднились, не знаю как. Заметили, кстати, на вокзале воздух отъединения, которым нас – может быть сами не думая – окружали все? Другие просто отступали, Вы все время оказывались рядом со мной, Вам молча уступали место, чтя в Вас – любимого? любящего? Просто *ТО*, *оно*, *божество*, вечный средний род любви (кстати, как *ночь*, *мощь* – не мужское (ъ) не женское (а) – мягкий знак, умягченное мужское, утвер(ж)денное женское). <...>

О другом. Не люблю моря. Сознаю всю огромность явления и не люблю. В который раз не люблю. (Как любовь, за которую – душу отдам! И отдаю.) Не мое. А море здесь навязано отвсюду, не хочешь, а идешь, *не* хочешь, а входишь (как любовь!), не хочешь, а лежишь, а оно на тебе, – и ничего хорошего не выходит. Опустошение.

Но есть *для нас* здесь – непростые рощи и простые поля. Есть для Вас, дружочек, долмэны и гроты.

Если то, что Вы и я хотим, сбудется (не раньше 1 сент<ября>!) Вы будете жить в Vaux-sur-Mer, в 1,5 кил<ометрах> от моря и от меня, в полях, – хорошо? И лес есть. Там в сентябре будут дешевые комнаты. Там Вы будете просыпаться и засыпать, все остальное – у нас. <...>

Вчера вечер прошел в семье Лосских (философ) – большая русская помещичья семья с 100-лет<ней> бабушкой – доброй, но *Пиковой* дамой, чудаком-папашей.., мамашей в роспускной кофте, и целым выводком молодежи: сыновей, их невест, их жен, друзей сыновей, жен и невест друзей – и чьим-то общим грудным ребенком.

Умные сыновья у Лосского, умней отца, – загорелые, с грубыми голосами и добрыми лицами. Цветет велосипед. Вчера, сидя со всеми ними над обрывом, под звездами, ноги в море, я с любопытством думала – заменили ли бы они все Вам – одну меня. Все они – куда образованнее меня! И все – велосипедисты (кроме 100-летней и месячного). Я, напр<имер>, вчера искренно удивилась, когда узнала, что Константинополь в... Европе! – мало удивилась: разъярилась. – "Город в котором есть ЕВРОПЕЙСКИЙ квартал!! Да это же вздор!!!" – "Если Константинополь в Азии, тогда и Петербург в Азии" – мрачно прогудел один из Лосских. – "Петербург? На том свете" – установила я. ВСЕ ЗАМОЛЧАЛИ. (Все-таки – "поэтесса!") Потом дружно заговорили о тендерах, тормозах и педалях. Тогда замолчала – я.

Ненавижу "компании", всегда страдала дико, убегала, опережала. Так и вчера. (*Все* небо поделенное на разновидности звезд – и глаз, на них смотрящих – и гул, их называющих. Что же остается – мне?) <...>

Обнимаю тебя.
М.

Пиши про свою жизнь (жизнь дня, дней) подробно.

(Сын философа Николая Онуфриевича Лосского (1870–1965), Борис Николаевич, посвятил несколько страниц в своих "Воспоминаниях" русской колонии в Понтайяке: "Совсем неоевразийским кругом мы прожили в тесном и дружеском соседстве летние каникулы 1928 г. на берегу океана, в Понтайяке... Туда в 1928 г. приехала Вера Викторовна Мягкова <урожд. Савинкова, сестра Б.В.Савинкова и племянница художника Н.Ярошенко> с дочерью Лидией, сыном Геннадием и племянником Львом Савинковым, всё семейство Лосских <...>, Лев Платонович Карсавин, а за ним и евразийцы: П.П.Сувчинский с женой Верой Гучковой (дочерью министра), Василий Эмильевич Сеземан с сестрой, но без жены и детей, молодой Иванов, Сергей Яковлевич, который приехал один, а позднее к нему приехали Марина Цветаева с детьми и няней. Позднее к ним приехали дети Леонида Андреева: Вера, Савва и Валентин". – **Ред.**).

Цветаева – Гронскому
Pontaillac, 13 июля 1928 г.

Колюшка, вот наш пляж, мой нелюбимый, коему подвергаюсь ежедневно от 2 ч. до 5 ч. Вчера ходила (в первый раз одна) в ту нашу рощицу – полдень – мой час – ни души, сидела на скале и читала немец<кую> (греч<ескую>) мифологию, посмертный подарок Рильке. Из нее узнала, что жертвенный камень в Дельфах – тот камень, который Гея дала сожрать Хроносу вместо Зевеса, предварительно обернув его в тряпки. Когда Хронос, расчухав, камень изверг, он упал прямо в Дельфы (кстати, аэролит). <...>

Вчера опять гуляли с Лосскими, был большой спор о море, я единственная *не люблю*, т.е. имею мужество в этом признаться. "Любить – обязывает. Любить море – обязывает быть рыбаком, матросом – а лучше всего Байроном (*и* пловец, и певец). Лежать возле и даже *под* ним не значит *любить*. Любить – знать, любить – мочь, любить – платить по счету. Как я смею сказать, что я люблю море, когда я не плаваю, не гребу, *не – не – не* ..." Никто не понимал. – "Ах, море!" Кто-то мне даже предложил "созерцательную любовь", на что – я: "Спасибо. Меня так всю жизнь любили, пальцем не шевельнув. В России я с такой любви потеряла *от голоду* трехлетнего ребенка. Смотрели и любовались, а я дохла. Любовь – прежде всего – *делать дело*, иначе это ТУПИК – как море для не-пловца: меня. ...Вот вы все, любящие, и я, *нелюбящая*, – *есть* разница? Да, в словах. Море вас не преобразило, вы им *не* пахнете, оно не стало вашей кровью и вашим духом, я, его нелюбящая, *с моим именем* больше морская, чем вы".

Родной, такими речами (т.е. всей собой) я всех отталкиваю. А Вам с ними было бы хорошо, потому что Вы разностороннее и любопытнее меня, для Вас спор – спорт, для меня – страдание.

Познакомлю Вас со всеми, если захотите. Приезжайте на месяц, к 1 сент<ября>, комнату найду. Вместе поедем.

Нынче получила книги, завтра вышлю. Пишу мало, у меня сейчас неблагодарная пора (летом 1928 г. М.Цветаева начинает работу над поэмой "Перекоп". – **Ред.**). Утешаюсь сознанием собственного усердия и упорства, остальное – дело богов.

Голубчик, пишите то, о чем я Вас просила, *очень* прошу. Если будут стихи, присылайте...
М.

Цветаева – Гронскому
Pontaillac, 2 августа 1928 г.

Мой родной, сейчас полная луна и огромные приливы и отливы. Вы приедете как раз в эти дни. Вчера луна была такая, что я, *я!* (меня – мать – Вы знаете?) выхватила из кровати засыпающего Мура: "На-мол, гляди!" Мур, никогда луны не видевший (такая встает поздно, когда такая встает, такие, как Мур, уже спят), совсем не удивился, а, наоборот, еще нас всех удивил утверждением: "А вот еще луна" – оказавшаяся лампой в окне Андреевых. Вас Мур вспоминает часто и – всегда – озабоченно: "Почему Н.П. нет? Он остался на вокзале? Почему он не поехал в поезде? Ему больше хотелось в Медон? "

Да! Вас ждет здесь большая радость, целый человек, живший в XVIII в., а кончивший жить в начале XIX (1735 – 1815) – мой любимец и – тогда бы – конечно любовник! Charles-Fransois Prince de Ligne, на свиданье к которому я в самый голод и красоту московского лета 1918 г. ходила в Читальню Румянцевского Музея – царственную, божественную, достойную нас обоих – и где, кроме нас, не было ни человека (князь де Линь Шарль Жозеф (1735 – 1814), бельгиец по рождению, генерал, потом фельдмаршал, дипломат, франкоязычный писатель, представитель блестящей космополитической культуры XVIII в. – **Ред.**). Я тогда писала "Конец Казановы", где и о нем (он был последний, любивший Казанову, его последний меценат, заступник, слушатель, почитатель и друг). Лето 1918 г. – 10 лет назад, я – 23 л. – тогда у меня появились первые седые волосы. Я сидела у памятника Гоголя, 4 летняя Аля играла у моих ног, я была без шляпы, солнце жгло, и вдруг, какая-то женщина: "Ба-арышня! Что ж это у тебя волосы седые? В семье у вас так или от переживаний?" Я, кажется, ответила: "От любви". А у себя в тетради записала: "Это – *ВРЕМЯ*, вопреки всем голодам, холодам, топорам, дровам Москвы 18 года хочет сделать меня маркизой (*ЗОМ*!)".

Тетрадочка цела. В Медоне покажу.

Я тогда любила двоих: Казанову и Prince de Ligne, и к двоим ходила на свиданье. Когда я просила – произносила: "Casanova, Mémoires, v. 10" и "Prince de Ligne, Mémoires, vol. VI" я опускала глаза. <...>

Ваш приезд. Неужели только 15-го. Постарайтесь к 1-му! Провели бы вместе целый месяц – вечность! И лучший из всех. <...> Все дело в дороге, т.е. 200 франков или даже меньше (aller et retour) (туда и обратно – фр.). Если еще целы шестовские – вот Вам aller, а retour возьмите у отца и – *заранее*. Бросьте статью! Стихи лучше. <...>

Еду 1-го. Нет, – буду 1-го. Вот что я хочу увидеть черным по белу в твоем следующем письме. <...>
М.

Гронский – Цветаевой
2 августа <1928 г.>
Дорогая Марина.

<...> Вот уже второй день работаю в Национальной Библиотеке. Статья моя (будет она напечатана под именем моего отца) близко коснется очень интересных мемуаров польских патриотов. Вот эти-то мемуары сейчас и читаю. Пишут они на прекрасном французском. Книги старые, пахнут как мой Гораций, что Вы мне подарили. Но кроме этого живого материала, есть много и мертвого – различные исторические труды. Когда статья будет напечатана, то подарю Вам экземпляр, который Вы никогда не будете читать, но который должен у Вас быть. Хотелось бы посвятить ее Вам (не по адресу, но "из-за"...), однако нельзя – автор ее официально мой отец. А ведь в этих мемуарах есть и стихи (к сожалению переведенные с польского на французский). Стихи очень хорошие. Тема: родина – Польша. Авторы: Мицкевич и Словацкий (польский Лермонтов). <...>

3 августа
Дорогая Марина.

<...> Вы меня зовете раньше и даже так предлагаете aller (деньги на дорогу в один конец – фр.), что нельзя отказываться, предлагаете, как мужчина, т.е. нет, как... ну, словом, честное слово (по чести), если не вышлют мне аванса за статью (что почти невероятно), то я их возьму. – Но раньше не приеду, ведь это значит (приехать так) ничего не сделать, чтобы к Вам приехать. Теперь понимаете, почему мне дороги эти мемуары, которые я читаю и перечитываю. Вы Польшу знаете – "но вал моей гордыни польской". Люди, что писали эти книги, и Вам дороги. На изысканном французском языке они рассказывают об Александре I, о выгодах России, но за каждой строчкою (а иногда и в строчку прорывается), за каждой мыслью – Польша...

Итак, ценою всего этого куплю приезд к Вам, или лучше не "куплю" – добуду (добуду то, что не нужно добывать). <...>

До свидания, Марина. Ваш Николай.
<На полях:>
Завидую Вашей libertas scribendi (свободе письменного изложения – лат.) (поняли латинщину?) <...>

До свидания. Ваш Николай.

Цветаева – Гронскому
Понтайяк,
5-августа 1928 г.

Мой родной, пишу Вам после баснословной прогулки, блаженной, моего первого события здесь, прогулки, длившейся 12 ч. и длившейся бы еще сейчас, если бы не вернулись в поезде, т.е. лишили бы себя еще этого блаженства! (Крохотный поездок, меньше Муриных жестяных, сквозь строй сосен).

Côte sauvage (дикий берег – фр.), в 20-ти верстах от Понтайяка, 15 из коих сплошной сосной: смолой и иглой. К соснам приделаны ведрышки: сосна *дойная*. Смолу эту *ела*.

Иные места – Россия, иные – Чехия, иные – Шварцвальд, все вместе – рай. Вся дорога (шли линией поездка, только раз уступив ему дорогу) в кокосовых орехах, тут же, на рельсах, – кокосовых! каких отродясь не видывала на соснах. Заросли ежевики. Ни души. Поездок ходит два раза в день. Океан хвои, за которым – за невидимым валом дюн – другой океан. И все это не кончается, ты все время по самой середине, как в любви...

Решение: мы с Вами не будем жить, мы будем ходить. Уходить с утра и возвращаться вечером – и обратно. Мы все время будем отсутствовать. Нас нигде не будет, мы будем ВЕЗДЕ. <...>
М.

Цветаева – Гронскому
Понтайяк, 10 августа 1928 г.

Сыночек родной, все дело в том, очень ли, *крайне* ли ты хочешь приехать? Ибо тогда – препятствий нет. <...>

Дорога: делай, что можешь, чтобы достать, проси у отца так или в долг, постарайся установить дело с бывшим гонораром, словом – предоставляю твоему воображению и – воле (ко мне, к *данной* вещи, – только в такую верю. Воля – *ОХОТА*.) Если же ничего не выйдет, т.е. у тебя ни копейки не будет, достану *тебе в оба конца*, только молчи, ничего не говори родным, – достал и достал. Мне от тебя нужно одно: "Дорогая Марина, буду у Вас 1-го"... Мне нужно это слово прочесть глазами. <...>

Колюшка, теперь слушай *еще* внимательнее.

Этот сентябрь *невозвратим*. Хочу его с тобой всеми силами своей души. Для тебя как для себя. Если он тебе немножко менее нужен, чем мне – не езди. Все это только при абсолютном равенстве *необходимости*. Проверь себя.

Может быть тебе и так хорошо: "пройдет лето, будет осень, осенью увидимся, будем гулять". Если так – не езди.

А если ВСЕ ОБРАТНОЕ – не считайся ни с какими бытовыми соображениями, ты в середине текущей реки – меня, река увидет, – "никто дважды не вступал в ту же реку". – "Будущее лето" – вздор, не верь, не верю, жизнь безоглядна, а за ней, по пятам – смерть.

Ясные дни и лунные ночи, ясные дни и темные ночи, дороги, пески, звук слова ОКЕАН... – устала! не хочу ломиться в стену, ты сам должен знать, а если не знаешь – Бог с тобой, иди мимо или – оставайся позади. <...>

Отвечай возможно скорей, ты меня никогда еще не мучил – не стоит начинать. Люблю тебя.
М.

Гронский – Цветаевой
<11 августа 1928 г.>
первое
Дорогая Марина.

Сейчас (12 часов) получил Ваше последнее. Хочу = Буду.

День и ночь пишу статью. Отца убедил, что нужно мне minimum 300. Он где-то достанет для своих дел денег и 300 даст мне.

Милая Марина, Ты сейчас не можешь слышать, как бьется мое сердце, потому что, чтобы послушать его в *Твоей* груди, Тебе надо шею длинную как у лебедя. Никто дважды не вступает, но если я сейчас вступил и остаюсь в ней (то что?).

Первую часть статьи читал отцу – одобрил. <...>

Вот кстати и стихи. Если статью об моем польском знакомом (умер в 1835-ом) не кончил, то и стихи еще не отделал.

На пальцах золотые кольца,
Подобострастие в словах,
Но бьется кровь и слышно: "Польша"
– Она в клинках, она в сердцах.

Шляхетской вольности надменной
Моэт свободы золотой,
Здесь в этой зале толстостенной,
Вот в этой книге небольшой.
Сто лет назад я был бы с Вами.
– Но книги, золотой обрез...
И за столетними листами
Последний Польши полонез.

Пишу их не исправленными, думаю, что годна последняя строка. <...>
Твой Николай.

Гронский – Цветаевой
<31 августа 1928 г.>

Дорогая моя Марина, дочитай это письмо до конца. Вчера я был у Ал<ександры> Зах<аровны>, чтобы условиться относительно посылочки, сегодня должен зайти – зайду, но посылочки не возьму. Мое белье лежит еще в шкафу и всегда там будет лежать, сегодня я *не* возьму у отца денег и не поеду покупать билета... Моя мать уходит из дому, вот и все, и только, и ничего другого. Может быть, Ты не поняла: она уходит, – и больше *не* вернется. Мой отец останется один (нет, не один: со мной, и, Боже, как это мало: я один). Это должно было быть вот уже год назад и этого не было и вот это теперь.

Марина, Ты от меня из-за этого не уйдешь? что я к Тебе не приехал? но я не могу. Мама уйдет сегодня или завтра, и папа будет один в комнате, и если я уеду, я сделаю подлость, но этого *не* боюсь – я знаю что такое будет Твое ответное письмо.

Я знал, что я не уеду. Год назад я говорил моей матери: "Тебе нужно уйти из дому" и вот знаю, что такое горечь пророка. Хуже, я знаю, что другого выхода (и мой отец тоже и она сама знают) нет.

Марина, слушай, мой дом разоряют, мою мать возьмут, у меня останется только папа. Я пойду всюду просить кусочки дому, у Тебя тоже попрошу, Ты мне дашь? (хотя я к Тебе и не приехал). Уже три дня я не плакал, почти не спал, наверное что-нибудь ел, а вот когда теперь пишу, я плачу (если бы день назад сказали, что я заплачу – я не поверил бы). Марина, я Тебя целую. Ты мне наверное все это простишь (*не*приезд и слезы). Но мой папа стал совсем маленький. Я его одеваю, я не могу приехать. У нас еще будут дни потом? Марина, ведь 25 лет они жили вместе. До свидания, Марина. Я целую Твои глаза. <...>
Ваш Николай.

Цветаева – Гронскому
Понтайяк,
1 сентября 1928 г., суббота

Сыночек родной, а сегодня я тебя уже встречала на вокзале. Поезд пришел, с поезда шли, тебя не было. Но я не удивилась, ибо ждала телеграммы. Сейчас половина второго, я только что сказала Але: "Аля, а возможно, что все-таки приедет сегодня. Вдруг письмо не дошло, где прошу о телеграмме? Отсюда письма долго идут". И Аля, не успев ответить мне, кому-то в дверь: "Merci, monsieur". В руке пачка писем. Аля: "Вере Александровне" (вижу *мой* голубой конверт и край ее улыбки) – "Зинаиде Константиновне" и – молча – мне. Гляжу на вид письма, вижу, что большое, и сразу знаю – то, что знаешь ты. Первое письмо, которому я – в руках – не обрадовалась. Нынче было *не время* для писем.

Милый друг, ты поступил как надо, как поступила бы, и всю жизнь поступала, и поступать буду – я. Ты поступил не как труднее (труднее было бы *оставить*) а как больнее (остаться). Ты поступил *как больше*. <...>

Неси свое горе в чистоте, никому ничего, – *утешая обкрадывают*. Неси свое горе, как свою любовь – молча. (Не все ли равно как это называется: горе – любовь – мать – я – раз оно заставляет молчать!) Не пей и отцу не давай, вино еще больше обкрадывает, чем друзья. Не утешайся, родной, и не утешай: утишай. Пусть не будет шума.

Однажды, когда я выбирала между домом и миром (хорош "выбор"! РАЗРЫВАЛАСЬ) – я сказала (третьему, конечно! *себе*) – "Здесь язва (гной), там рана (кровь). Не могу гноя". (Совести.) И – осталась. И остался ты. А твоя мать – ушла, и гнойник уже в ней, и отравит ей все. Так недавно еще – я в связи с твоим приездом (ее отъездом, уехала нынче утром) рассказывала В.А.С<увчин>ской о твоей матери: "Волосы черно-синие. Старше меня на 10 с лишком лет, и ни одного седого волоса. Не сын – брат, не внучка – дочка. Индусская царевна. Или прабабушкин медальон. Тишайшая, – как те – громчайшие. А сын – чудесная смесь отца и матери, дитя обоих, воплощенная несовместимость, чудо. Такого бы сына я хотела!"

А помнишь, как ты мне о ней рассказывал. Мы – Аля, ты и я – шли к Шестову, ты нас ждал, вышли – мост, линия эл. ж.д. – ты рассказывал о ней и том, ты был суров, а я, вспомнив ваши – всех в доме – громкие голоса: "Вы ее просто оглушили. Дайте ей отойти – с другим! Детей она вырастила, дар загубила, – все честь честью. Молодости – еще час, дайте ей этот час, она на него в праве".

В праве-то в праве, *но* не у всякого из нас хватает силы на свое право, у меня, например, бы не хватило – никогда не хватало. Сила или слабость? Не знаю, нет, знаю: отвращение к усладе, презрение к счастью, "с ним буду счастлива" – это не резон. Я с тем, кто без меня жить не может, не будет, кому я – счастье? нет, *жизнь*. Как и ты сейчас.

Мы одной породы, Колюшка, раз навсегда запомни: идя против себя, пойдешь против меня! Иного противу-меня – нет. Так и твой приезд *сейчас* был бы для меня – ударом, крушением всего здания...

Взгляни назад. Пора возле Пасхи. Ты получил мое первое письмо, оказавшееся *зовом*, ты пошел со мной в лес, думая, что идешь со мной в лес, вошел в мою жизнь. Наша встреча тогда – разве не подготовление твоей сейчас разлуки с матерью? Бог, знавший, подумал: "Ему еще нужна мать. Его – уже ушла (для Бога *ушла*, раз уйдет!) – дам ему – на первую трудную пору – эту". И я, прослышавшая:

...Влагаю.
Солгали,
Что мать и сын!
(уже оспаривая, т.е. утверждая!)

Как все – издалека – проясняется! Не верь после этого стихам! Мать я тебе не заменю, – (кощунство созвучия мать: замена) – я буду твоей невозможной матерью, каких не бывает, или бывают только в снах или детских сочинениях, где с возрастом не считаются. (Для того, чтобы иметь такого сына, как ты, мне нужно было бы выйти замуж 13-ти или 14-ти лет!) Буду твоей матерью-однолеткой, как ты мне однолеткой-сыном, ибо, Колюшка, если я, "поцеловав мальчика, стала совсем одного с ним возраста", то и ты, поцеловав меня, стал совсем одного с моим, т.е. ВСЕГДА.

И еще одно: войдя в мою жизнь, ты этим вошел в порядок ее, перешел из своего порядка – в мой, попал в мой закон, а мой закон – неосуществление, отказ. Наша невстреча, разминовение, несбывание сейчас – только внешне идет от тебя. *Мой* закон – чтобы не сбывалось. Так было всю мою жизнь, и, клянусь, если бы я *глазами* увидела тебя на ройянском вокзале – я бы глазам не поверила! <...>

Будут ли у нас когда-нибудь дни с тобой? Дни, не знаю, – вечность уже есть. Жить с тобой в одном доме и спать с тобой под одним кровом мы конечно уже не будем. Для этого все должно было сойтись как сошлось. Дважды этого не бывает. (И четырежды – только не у нас!)

Что я хотела от этого лета? Иллюзии (плохое слово, другого нет) непрерывности, чтобы ты не приходил и уходил, а *был*.

Я еще не плачу, но скоро буду. <...>

И – кто знает? Может быть, все к лучшему. Отказ от *меня*, любимой и любящей, это пожалуй было бы не под силу даже мне. (Говорю не об отказе неприезда, разовом, – о другом, отказе присутствия, ежечасном!) Ты, никогда не видавший меня на воле – увидел бы – не оторвался бы – не мог бы без меня дней и ночей. Лучше тебе меня – такой – не знать! И еще об одном (говорю совсем тихо) может быть в одну из этих ночей начался бы, Колюшка, твой сын, сын *твоих* 18-ти лет, как Аля дочь моих 18-ти, дитя дитяти, первенец мальчика. – А таких *люто* любят! – О, наверное было бы так. И это было бы – конец всему: моему с другим, моему с тобой. Ты бы, обретя (?) сына, потерял меня – в жизни, в днях, мы бы не могли не расстаться. <...>

Цветаева – Гронскому
Понтайяк, 3-го сентября 1928 г., понедельник

Мой сыночек родной! Что ДЕЛАТЬ? Читать Ролана. Jean-Christophe. Жаль, если уже читал – значит, читал не вовремя. Р<ильке> для *тебя*, 19-ти лет, еще слишком косвенен, 19-ти годам, даже твоим! Нужна прямая речь. Она в наши дни есть только у Ролана. Еще – у Конрада, но Ролан – родней. На билетные 100 франков купи себе всего Жана-Кристофа – сразу – и дома, над Парижем, над деревьями, под небом, по ночам – читай. Если бы я сейчас была – хотя бы в Медоне! тебе бы не нужно было Ролана. Дороже прямой речи – прямая *живая* речь. Но меня весь этот месяц не будет, доверяю тебя Ролану.

Мне весь день хочется писать тебе, верней я в непрерывном состоянии письма к тебе. <...>

До свидания, мой обожаемый мальчик.
М.
<На полях:>
Не пожалей времени, напиши мне все как было и как есть, хочу знать твои *дни*. А не лучше ли тебе куда-нибудь уехать с отцом? Это – возможно? На волю, в природу. В какой-нибудь другой загород.
<На отдельном листе:>
Хлябь! Сплошная маслобойня
Света! Быстрое, рябое,
Бьющееся без забрал...
Потяди, как в час прибоя
бог играет сам с собою. –

Так и ты со мной играл.
МЦ.

Цветаева – Гронскому
Понтайяк, 4 сентября 1928 г., вторник

После 33 кил<ометров> – на Côte Sauvage туда и обратно – загнать тоску. (Загнала, но внутрь.) Ходили втроем – я, Аля и еще одна барышня, одни через огромный лес, как в сказке. На Côte Sauvage была один-единственный раз, второй должен был быть с тобой. Это был *наш* раз (ты приехал 1-го, первые три дня ушли на рощицу, Vaux (деревня в полях, церковь XI в.), St.Palais, ежевику.) Всю дорогу на тебя оглядывалась. Côte Sauvage. Иссиня-исчерна-лиловое море, такое как нигде, с наступающей в полном боевом порядке армией волн – черный остов затонувшего корабля – песок, свистящий под ногой как птица или рвущийся шелк. Спала. Собирала раковины. Купалась с Алей... в луже, оставленной океаном. Лужа журчащая, прозрачная, глубокая. С доброе озерцо. Мы бы с тех песков (дюны, сосна) не ушли до утра. Мы просто *не ушли* до утра, сейчас лунная ночь, лежим с тобой – одни на всем побережье – на всех песках одни! Растянувшись на всю Côte Sauvage.

(Увидала сейчас мысленно твое лицо, то, что я так люблю: румянец под глазами: карее, отблеснувшее алым, и вместе дающее жар: огонь.)

День не прошел, а прошагал, промчался моим шагом. Возвращаюсь (с 8 ч. утра до 8 ч. вечера) – Мур в безумном волнении ждет. Даже смутился: поздоровался сперва с собакой (не гуляла, но вбежала вместе с нами.) Уложила – посидела – простилась – сижу ужинаю – вопль: "Мама! Ма-а-ама!" Прихожу – рыдает (*никогда* не бывает!) – "Мур, что с тобой?" Все тело ходуном. – "Вы меня обидели: Вы ушли обедать!" (ОБИДЕЛИ: УШЛИ.)

Нет измены мужу. Есть измена сыну. Нет детей – нет измены.

Но о другом: о тебе. Почему меня нет с тобой в эти адовы дни? Ты бы забегал ко мне на минуточку, или я бы к тебе – на сколько хочешь, к тебе наверх, в твою чудную комнату, где я была только раз и которую никогда не забуду. Сидели бы с тобой на краешке кровати, может быть молча... Внизу – что угодно, наверху – ты и я (ты: я). Ты бы у меня набирался сил. Ты бы просто отдыхал. И – может быть – я бы тебя даже не целовала. (Обнимала – наверное.) – Все письмо из сослагательного наклонения.

А если – безумная надежда! – все "наладится", ты бы не мог ко мне *на неделю*? Если мать скажет *остаюсь*. Не сразу – через несколько дней – *на* несколько дней. Не говори нет.

Подумать о тебе 5/18-го? Да разве я о чем-нибудь другом думаю? Не думаю, а льну к тебе всем телом и всей душой, всей мною к всему тебе. Эти дни просто не выпускаю тебя из рук. Ах, Нинона, Нинона, пролежавшая трое суток в постели с таким-то и *думавшая, что любит*!..
М.

Гронский – Цветаевой
<4 сентября ? 1928 г.>

Дорогая Марина, спасибо Тебе за письмо. Оно мне радость (Радость = Страданье – знаешь, у Блока – "Роза и Крест" (?) Я-то читал позавчера, а Ты, чай, забыла). Ведь все, что Ты написала, уже я матери говорил... Знаешь, у древних (и у греков, и у римлян) поэт и прорицатель одно слово: vatis. – Прочел это в большой мифологии (Твой подарок), но знал и раньше. Так вот и Ты – Кассандра, которую никогда не слушали, но ведь Гомер слышал, слушал.

Другим моей печали не понесу, не может быть помощи кроме Тебя. Хочется мне Тебе сказать, как Давид говорил Богу: Ты мой щит, мой лук, мое прибежище...

Дни мои? – Кухня, переноска вещей – Быт. Бытие – ночь и Твои письма. А ночь или один, или с Блоком, с Рильке (перечитывать буду): с друзьями.

Марина, стихи Твои мне тоже – Радость = Страдание. Хороши они, хороша Ты, моя Милая! Милая с Большой, большой буквы, как и моя Маленькая, маленькая тоже с огромной.

Отцу ехать нельзя: все еще полутруп, а был совсем. Буду ходить в гости к маме...

Наконец высылаю Вам деньги (а J.Cristoph'a не куплю, Вам нужнее – Муру сапожки).

Твой Николай.

Цветаева – Гронскому
Понтайяк, 7 сентября 1928 г., пятница

Колюшка, мне дико жаль твою маму... Ей предстоят тяжелые месяцы. Если бы я могла, я бы усыпила ее на все избывание несбывшегося. У меня над женщинами большая власть, Колюшка, – куда большая, чем над – вами. С детства. Из-за меня (не ко мне!) 14-летней ушла от мужа 36-летняя женщина, после 18-ти лет брака. Мою дружбу с женами (не подумай дурного!) плохо переносили мужья, еще хуже – друзья. Эту силу в себе знаю и никогда не употребляла во зло. Я женщин люблю так, как их никогда не полюбит ни один мужчина, я для них l'amant rêvé (они *льнут* ко мне (прочти это с задержкой на *ль*, тогда поймешь!) – вот и сейчас, последнее письмо А<рен>ской...

Они будут любить меня и тогда, когда и *твой* след простынет, дружочек! Я многое могу для твоей мамы, больше чем кто-либо, и СМОГУ – если захочешь. Не ревнуй, все вернется в тебя.

Люблю ее еще и за то, что она слышала тебя – когда тебя никто не слышал, знала тебя – когда никто не знал. И не такой ли ты потому, что она, нося тебя в себе, сама была – в мире идей. <...>

"Как Вы можете жить среди таких?" спросила я ее однажды, наглотавшись твоей сестры и ее мужа, – при муже и сестре: "Как Вы могли уцелеть такой, какая Вы есть, жизнь проведя – с такими?!" И она, так же тихо, как я громко, так же кротко, как я гневно: "О, не судите их! И не верьте им на слово! В них много такого, о чем они и не знают..." <...>

Эта осень – какая проба сил